

Г.В. Хлебников

**К ФАКТОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЕ КНИГ
А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА О РЕВОЛЮЦИИ
И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ: МАРИНА ЦВЕТАЕВА
О «РЕВОЛЮЦИИ» 1917 ГОДА.
ИЗ «ДНЕВНИКОВОЙ ПРОЗЫ»**

Аннотация. В статье рассматриваются факты, подтверждающие концепцию А.И. Солженицына о перевороте 1917 г.

Ключевые слова: А.И. Солженицын; М.И. Цветаева; переворот 1917 г.; дневники; реквизиционные отряды; большевики; коммунисты.

Kchlebnikov G.V. To the factual basis of A.I. Solzhenitsyn' books about the revolution and civil war: Marina Tsvetaeva about the «revolution» of 1917. From «The Diary prose»

Summary. The article examines the facts that support the concept of A.I. Solzhenitsyn about the coup of 1917.

Keywords: A.I. Solzhenitsyn; M.I. Tsvetaeva; the coup of 1917; diaries; requisitioning detachments; Bolsheviks; Communists.

*На месте прежних русских ратей
Царит один латышский полк.
Ликует банда красных братий,
И голос совести примолк.*

*Вся Русь в крови, в огне пожаров
И мчится бешено вперед,
Влача израненный народ
Под хохот пьяных комиссаров.*

Василий Григорьевич Ян

Изучая события 1917 г. и последующих лет в России, А.И. Солженицын обращает огромное внимание на доказательность и фактическую точность приводимых им сведений о грабежах и зверствах, совершаемых большевиками и коммунистами над обманом захваченной ими страной и его народом, не обходя молчанием и национальный вопрос: кто и как совершал противоправные действия, какие, в том числе и личные, интересы преследовал при этом. Среди использованных им документов были также многочисленные мемуарные и дневниковые источники, в разной мере доступные писателю в период работы над своими произведениями. Тем не менее часть из них (дневников) по разным причинам оказалась вне круга его внимания, иногда содержа в то же время впечатляюще яркий дополнительный материал, который может не только усилить и углубить доказательность положений художественных исследований А.И. Солженицына, но и расширить их фактический горизонт, введя новые событийные и психологические наблюдения.

С этой точки зрения тексты дневников М.И. Цветаевой, на долгие годы похороненные в самых закрытых тайниках спецхранилищ, интересны не только фактичностью, точностью, яркостью и живостью непосредственных наблюдений, тем, что они взяты из «гущи жизни» очевидцем происходящего, – что и само по себе бесценно. Но и тем, как тонко ей удается передать атмосферу общественного сознания тех лет, показать, какими настроениями, слухами, ожиданиями жили самые различные группы населения: одни – делавшие переворот и участвовавшие в нем, другие – претерпевающие его на собственной коже и безмерно страдавшие от «социального эксперимента», третий – преследовавшие

в «революции» и свои корыстные цели. Почему-то об этих предпочитали долгое время не говорить, умалчивать о них, словно таких никогда не было и быть не могло. Были, да еще какие! И сколько! Воспоминания современников, и Марины Цветаевой в том числе, не только показывают, кем и чем они были, какие интересы преследовали, но и что – можно предположить – вообще в каждом «революционере-большевике» был подобный частный интерес, своя маленькая подленькая цель, которую он, может быть, и сам себе открыто и прямо не высказывал, не признавался в ней, и тем не менее имел ее, радуясь и гордясь этим реальным и материальным преимуществом перед другими, не имевшими подобных «радостей»: кто повышенным пайком, кто, как главари переворота, севрюжкой и икоркой среди всеобщего голода и смертей детей, кто – служебной машиной с шофером, кто – безнаказанностью своеволия, а кто – всем этим сразу, да еще и «реквизированным» золотом и т.п.

Может быть, кто-то сочтет эти дневники чрезмерно эмоциональными. Другой, возможно, заметит, что это «женская реакция» на реалии жизни. Третий скажет: слишком натуралистично, не всем следует знать, лучше – в спецхран и т.д. Да, эмоциональная, да, женская, – и от этого еще более трагическая и правдивая. Да, натуралистично, как сама жизнь, из нее и взято М.И. Цветаевой.

Вот в нескольких предложениях описание ею поездки в поезде: просто и страшно, когда счет уже идет не на слезинки ребенка, а на десятки тысяч жизней живых людей, хитрой и коварной ложью, массовыми расстрелами разделенных и противопоставленных друг другу в искусственно раздуваемой и гибельной для всех гражданской войне, в которой все участники в конце концов и погибли.

ОКТЯБРЬ В ВАГОНЕ

(Записи тех дней)

Двое с половиной суток ни куска, ни глотка. (Горло сжато.) Солдаты приносят газеты – на розовой бумаге. Кремль и все памятники взорваны. 56-й полк. Взорваны здания с юнкерами и офицерами, отказавшимися сдаться. 16 000 убитых. На следующей

станции – уже 25 000. Молчу. Курю. Спутники, один за другим, садятся в обратные поезда...

ПИСЬМО В ТЕТРАДКУ

Если Вы живы, если мне суждено еще раз с Вами увидеться, – слушайте: вчера, подъезжая к Харькову, прочла «Южный Край». 9000 убитых. Я не могу Вам рассказать этой ночи, потому что она не кончилась. Сейчас серое утро. Я в коридоре. Поймите! Я еду и пишу Вам, и не знаю сейчас, – но тут следуют слова, которых я не могу написать.

…Известия неопределенные, не знаю, чему верить. Читаю про Кремль, Тверскую, Арбат, «Метрополь», Вознесенскую площадь, про горы трупов.

Трое суток – ни с кем ни звука. Только с солдатами, купить газет. (Страшные розовые листки, зловещие. Театральные афиши смерти. Нет, Москва окрасила! Говорят, нет бумаги. Была, да вся вышла. Кому – так, кому – знак.)¹.

Вот запись Цветаевой суждений о происходящем случайного попутчика, простого «мастерового», который не только понимает смысл и суть происходящего, движущие силы («всё эти отребья красные»), но и высказывает метафизические предположения о сверхъестественной, духовной сущности всего феномена «новой жизни» как «сомущения Антихристового» (и тем как бы перекликаясь с пророчеством Ф.М. Достоевского, видением М. Волошина и многих других).

Кто-то, наконец: «Да что с вами, барышня? Вы за всю дорогу куска хлеба не съели, с самой Лозовой с вами еду. Все смотрю и думаю: когда же наша барышня кушать начнут? Думаю, за хлебом, нет – опять в книжку писать. Вы что ж, к экзамену какому?» Я, смутно: «Да». Говорящий – мастеровой, черный, глаза, как угли, чернобородый, что-то от ласкового Пугачева. Жутковат и приятен. Беседуем. Жалуется на сыновей: «Новой жизнью

¹ Здесь и далее цит. по сноске: 1. Цветаева М.И. Дневниковая проза. Режим доступа. – http://rulibrary.ru/tsvetaeva/dnevnikovaya_proza/1 (Дата обращения: 18.01.2018.)

заболели, коростой этой. Вы, барышня, человек молодой, пожалуй и осудите, а по мне – вот все эти отребья красные да свободы похабные – не что иное будет, как сомущество Антихристово. Князь он и власть великую имеет, только ждал до поры до часу, силу копил. Приедешь в деревню, – жизнь-то серая, баба-то сивая. “Черт, шут”... Гляди, кочерыжками закидает. А какой он тебе шут, когда он князь рожденный, свет сотворенный. На него не с кочерыжками надо, а с легионами ангельскими”...

А это картина – описание встречи с провидцем-поэтом Максом Волошиным, видящим все развитие «революции» в ее главном, сути: кровь, кровь и кровь. Русских, России, народа, государства, нации.

КУСОЧЕК КРЫМА

Приезд в бешеную снеговую бурю в Коктебель. Седое море. Огромная, почти физически жгущая радость Макса В_{<олошина>} при виде живого Сережи. Огромные белые хлеба. Видение Макса В_{<олошина>} на приступочке башни, с Тэном на коленях, жарящего лук. И пока лук жарится, чтение вслух, С_{<ереже>} и мне завтрашних и послезавтрашних судеб России. – А теперь, Сережа, будет то-то... Запомни. И вкрадчиво, почти радуясь, как добрый колдун детям, картинку за картинкой – всю русскую Революцию на пять лет вперед: террор, гражданская война, расстрелы, заставы, Вандея, озверение, потеря лика, раскрепощенные духи стихий, кровь, кровь, кровь...

Контрапунктом к этому – татары, у которых время застыло и остановилось.

С Г_{<оль>}цевым за хлебом. Кофейня в Отузах. На стенах большевистские возвзвания. У столов длиннобородые татары. Как медленно пьют, как скрупо говорят, как важно движутся. Для них время остановилось. XVII в. – XX в. И чашечки те же, синие, с каббалистическими знаками, без ручек. Большевизм? Марксизм? Афиши, все горло прокричите! Какое нам дело до ваших машин, Лениных, Троцких, до ваших пролетариев новорожденных, до

*вашей буржуазии разлагающейся... У нас уразá, мулла, виноград,
смутная память о какой-то великой царице... Вот эта кипящая
смоль на дне золоченых чащечек...*

*Лунные сумерки. Мечеть. Возвращение коз. Девочка в мали-
новой, до полу, юбке. Кисеты. Старуха, выточенная, как кость.
Изваянность древних рас.*

Зарисовка матроса-попутчика, сознание которого – мешанина выдержек из «революционных» газет и пропагандистских выступлений, но который имеет «свое» поучащае-высокомерное понимание происходящего.

*Внезапно ввязывается, верней – взрывается – матрос:
«И все это вы, товарищи, неверно рассуждаете, бессознатель-
ный элемент. Эти-то образованные, да дворяне, да юнкера
проклятые всю Москву кровью залили! Кровососы! Сволочь!»
(Ко мне:) «А вам, товарищ, совет: поменьше о Христах да дачах
в Крыму вспоминать. Это время прошло».*

Мой защитник, испуганно: «Да они по молодости... Да какие у них дачи, – так, должно, хибарка какая на трех ногах, вроде как у меня в деревне... (Примиряюще:) – Вот и полсаложки плохонькие»...

*Об этом матросе. Непрерывная материцина. Другие (боль-
шевик!) молчат. Я, наконец, кротко: «Почему вы так ругаетесь?
Неужели вам самому приятно?»*

Матрос: «А я, товарищ, не ругаюсь, – это у меня поговорка такая». Солдаты грохочут. Я, созерцательно: «Плохая поговорка».

И тут же Цветаевой приводятся слова маленькой дочки, совсем из другого мира, уже оболганного, ошельмованного, оплевываемого и затоптанного солдатскими сапогами.

Молитва Али во время и с временем восстания:

*«Спаси, Господи, и помилуй: Марину, Сережу, Ирину, Любу,
Асию, Андрюшу, офицеров и не-офицеров, русских и не-русских,
французских и не-французских, раненых и не-раненых, здоровых
и не-здоровых. – Всех знакомых и не-знакомых» [см.: сноска 1].*

А здесь свидетельство того, кто и как работал в реквизиционном отряде, почему-то редко и мало кем вспоминаемая страница «великого октября». Глазами очевидцев. Сначала – посадка в вагон, народ и новые власти.

Москва, октябрь – ноябрь 1917

ВОЛЬНЫЙ ПРОЕЗД

Дорога на ст<анцию> Усмань, Тамбовской губ<ернии>.

Посадка в Москве. В последнюю минуту – точно ad разверзся: лязг, визг. Я: «Что это?» Мужик, грубо: «Молчите! Молчите! Видно, еще не ездили!» Баба: «Помилуй нас. Господи!» Страх, как перед опричниками, весь вагон – как гроб. И действительно, минуту спустя нас всех, несмотря на билеты и разрешения, выбрасывают. Оказывается, вагон понадобился красноармейцам. В последнюю секунду N, его друг, теща и я, благодаря моей командировке, все-таки попадаем обратно.

И сами ревизующие сознают, что занимаются чистым грабежом, но ведь прибыльно-то как и выгодно! М. Цветаева использует прием косвенного описания, *in extenso* приводя слова матери одного из реквизирующих, одновременно осуждающей сына и восхищающейся изобилием продуктов, отнятых у крестьян.

Трагически начинаю уяснять себе, что едем мы на реквизиционный пункт и... почти что в роли реквизирующих. У тещи сын-красноармеец в реквизиционном отряде. Сулят всякие блага (до свиного сала включительно). Грязят всякими бедами (до смертоубийства включительно). Мужики озлоблены, бывает, что поджигают вагоны. Теща утешает:

– Уж три раза ездила, – Бог миловал. И белой пуда-ами! А что мужики злобятся – понятное дело... Кто же своему доброму врагу? Ведь грабят, грабят вчистую! Я и то уж своему Кольке говорю: «Да побойся ты Бога! Ты сам-то, хотя и не из дворянской семьи, а все же и достаток был, и почтенность. Как же это так – человека по миру пускать? Ну захватил такую великую власть – ничего не говорю – пользуйся, владей на здоровье! Такая уж твоя звезда счастливая. Потому что, барышня, у каждого своя планида...

Так я сыну-то: «Бери за полночины, чтоб и тебе не досадно, и ему не обидно. А то что ж это, вроде разбоя на большой дороге. Пра-аво! Оно... барыняка, понятно: парень молодой, время малиновое, когда и тешиться, коли не сейчас? Не возьмет он этого в толк, что в лоск обирать – себя разорять! И корову доить – разум надо. Жми, да не выжимай. Да-а...

Оборотная сторона «революции» во всей красе встает из слов этой простой русской женщины, прекрасно понимающей, что, как, почему и для чего происходит.

«А уж почет-то мне там у него на пункте – ей-Богу, что вдовствующей Императрице какой! Один того несет, другой того гребет. Колька-то мой с начальником отряда хороши, одноклассники, оба из реалки из четвертого классу вышли: Колька – в контору, а тот просто загулял. Товарищи, значит. А вот перемена-то эта сделалась, со дна всплыл, пузырек вверх пошел. И Кольку моего к себе вы требовал. Сахару-то! Сала-то! Яиц! В молоке – только что не купаются! Четвертый раз езжу».

В разговорах, которые ведутся в вагоне, Марина Ивановна фиксирует в немногих словах и тему отношения солдат и некоторых офицеров к религии, иконам, Богу, показывая через ответы и реплики уровень компетентности высказывающихся.

Ночной спор о Боге. Ненависть солдат к иконам и любовь к Богу, – «Зачем доску целовать? Коли хочешь молиться, молись один!» Солдат – офицеру (типа бывшего лицеиста, пробор, картавит): «А Вы, товарищ, какой веры придерживаетесь?» Из темноты – ответ: «Я спирит социалистической партии».

Дневниковые записи пестрят колоритными описаниями приезда поезда, вербальными портретами действующих лиц, мизансценами обстоятельств, зарисовками индивидуальных особенностей языка, отражающих пореволюционную культуру вовлеченных в нее людей.

Станция Усмань. 12-й час ночи.

Приезд. Чайная. Ломящиеся столы. Наганы, пулеметные ленты, сплошная кожаная упряжь. Веселы, угощают. Мы, честные, все без сапог, – идя со станции чуть не потонули. Для тещи, впрочем, нашлись хозяйкины полусапожки.

Хозяйки: две ехидных перепуганных старухи. Раболепство и ненависть. Одна из них – мне: «Вы что же – ихняя знакомка будете?» (Подмигивая на тещина сына.) Сын: чичиковское лицо, васильковые свиные прорези глаз. Кожу под волосами чувствуешь ярко-розовой. Смесь голландского сыра и ветчины. С матерью нагло-церемонен: «Мамаша»... «Вы» – и: «Ну вас совсем – ко всем!»... Я, слава Богу, незаметна. Теща, представляя, смутно оговорилась: «С их родными еще в прежние времена знакомство водила»... (Оказывается, она лет 15 назад шила на жену моего дяди. «Собственная мастерская была... Четырех мастерий держала... Все честь честью... Да вот – муж подкузьмил: умер!».) Словом, меня нет, – я: при...

Напившись-наевшись, наши два спутника, вместе с другими, уходят спать в вагон. Мы с тещей (тещей она приходится приятелю N, собственно, и сбившего меня на эту поездку) – мы с тещей укладываемся на полу: она на хозяйкиных подушках и перинах, я просто.

Просыпаюсь от сильного удара. Голос свахи: «Что такое?» – Второй сапог. – Вскакиваю. Полная тьма. Все усиливающийся топот ног, хохот, ругань. Звонкий голос из темноты: «Не беспокойтесь, мамаша, это реквизиционный отряд с обыском пришел!» Чирканье спички. Крики, плач, звон золота, простоволосые старухи, вспоротые перины, штыки... Рыщут всюду.

– Да за иконами-то хорошенко! За святыми-то! Боги золото тоже любят-то!

– Да мы... Да нешто у нас... Сынок! Отец! Отцом будь!

– Молчать, старая стерва!

Пляшиет огарок. Огромные – на стене – тени красноармейцев.

Оказывается, хозяйки чайной давно были на примете. Сын только ждал приезда матери: нечто вроде маневров флота или парада войск в честь Вдовствующей Императрицы.

Обыск длится до свету: который раз ни просыпаюсь – все то же. Утром, садясь за чай, трезвая мысль: «А могут отра-

вить. Очень просто. Подсыплют чего-нибудь в чай, и дело с концом. Что им терять?..

А расстреляют – все равно помирать!» И, окончательно убедившись, пью. В то же утро съезжаем. Мысль эта пришла не мне одной.

Еще портреты героев и действующих лиц «революции»: сначала – неопределенно-лично, но явно указывая национальность и социальную принадлежность, словно показывая слой участников преступления, а затем – конкретно и поименно, руководителей и исполнителей происходящего геноцида страны и его народа.

Опричники: еврей со слитком золота на шее, еврей – семьянин («если есть Бог, он мне не мешает, если нет – тоже не мешает»), «грузин» с Триумфальной площади, в красной черкеске, за гравенник зарежет мать...

Мои два спутника уехали в бывшее имение кн. Вяземского: пруды, сады... (Знаменитая по-зверскости расправа.)

Уехали – не взяли. Остаюсь одна с тещей и с собственной душой. Не помогут ни та ни другая. Первая уже остывает ко мне, вторая (во мне) уже закипает.

С чайником за кипятком на станцию. Двенадцатилетний, одного из реквизицирующих офицеров, «адъютант». Круглое лицо, голубые дерзкие глаза, на белых, бараном, кудрях – лихо заломленная фуражка. Смесь амура и хама.

Хозяйка (жена того опричника со слитком) – маленькая (мизгирь!) наичернюющая евреечка, «обожжающая» золотые вещи и шелковые материи.

– Это у вас платиновые кольца?

– Нет, серебряные.

– Так зачем же вы носите?

– Люблю.

– А золотых у вас нет?

– Нет, есть, но я вообще не люблю золота: грубо, явно...

Ах, что вы говорите! Золото – это ведь самый благородный металл. Всякая война, мне Иося говорил, ведется из-за золота. (Я, мысленно: «Как и всякая революция!») [см.: сноска 1].

Замечание, закавыченное в скобках, красноречиво показывает, что М. Цветаева видела и знает о происходящем гораздо больше, чем может и хочет записать как очевидец. Но и зафиксированного ею достаточно. Золото для всех этих бессребреников, «чистейших и честнейших рыцарей революции», кажется, как-то особенно, мистически притягательно, видно желание забрать его и присвоить себе любой ценой и у всех.

— А позвольте узнать, ваши золотые вещи с вами? Может быть, уступите что-нибудь? О, вы не волнуйтесь, я Иосе не передам, это будет маленькое женское дело между нами! Наш маленький секрет! (Блудливо хихикает.) — Мы могли бы устроить в некотором роде Austausch.

(Понижая голос:) — Ведь у меня хорошенъкие запасы... Я Иосе тоже не всегда говорю!.. Если вам нужно свиное сало, например, — можно свиное сало, если совсем белую муку — можно совсем белую муку.

Я, робко: — Но у меня ничего с собой нет. Две пустых корзинки для пшена... И десять аршин розового ситцу... Она, почти дерзко: — А где же вы свои золотые вещи оставили? Разве можно золотые вещи оставлять, а самой уезжать?..

Я, раздельно: — Я не только золотые вещи оставила, но... детей! (там же).

Она, рассмешенная:

— Ax! Au! Au! Какая вы забавная! Да разве дети — это такой товар? Все теперь своих детей оставляют, пристраивают. Какие же дети, когда кушать нечего? (Сентенциозно:) — Для детей есть приюты. Дети — это собственность нашей социалистической Коммуны... (Я, мысленно: «Как и наши золотые кольца»...)

Логика проста и прямолинейна, легко прочитывается М. Цветаевой: сейчас и ваши дети, и ваши золотые кольца — «это собственность нашей социалистической Коммуны», а поскольку мы ее представляем, олицетворяем, ее возглавляем, ею руководим, от ее имени действуем, то — наши, мои и Иоси; пока золото у нас — оно и у Коммуны, разницы никакой. По факту происходящего.

Убедившись в моей золотой несостоятельности, захлебываясь, рассказывает. Раньше – владелица трикотажной мастерской в «Петрограде».

– *Aх, у нас была квартирка! Конфетка, а не квартирка! Три комнаты и кухня, и еще чуланчик для прислуги. Я никогда не позволяла служанке спать в кухне – это нечистоплотно, могут волосы упасть в кастрюлю. Одна комната была спальня, другая столовая, а третья, небесного цвета, – приемная. У меня ведь были очень важные заказчицы, я весь лучший Петроград своими жакетками одевала... О, мы очень хорошо зарабатывали, каждое воскресенье принимали гостей: и вино, и лучшие продукты, и цветы... У Иоси был целый курильный прибор: такой столик филигранной работы, кавказский, со всякими трубками, и штучками, и пепельницами, и спичечницами... По случаю у одного фабриканта купили... И в карты у нас играли, уверяю вас, на совсем не шуточные суммы...*

И все это пришлось оставить: обстановку мы распродали, кое-что припрятали... Конечно, Иося прав, народ не может большие томиться в оковах буржуазии, но все-таки, имея такую квартиру...

Да, вот они – наверное, «лучшие из лучших»: кристально чистые и бескорыстно преданные делу рабочего класса и крестьянства, когда ни о какой меркантильности, тем более личной заинтересованности и думать нельзя – кощунственно! – Не то, что говорить, etc. – здесь одни «новые святые» Революции.

И вдруг один раз, однажды и случайно поехала М. Цветаева – и какое дикое совпадение! – тут совершенно нетипичная, особая ситуация, прямо-таки – невозможная! Или, напротив, может быть, самая обыкновенная и на каждом шагу встречавшаяся и встречающаяся? Как-то не очень верится в сплошные случайности да совпадения...

Вот бытовые сцены тех дней, будто выточенные из кости, а созданы несколькими точными словами.

Мытье пола у хамки.

– *Еще лужу подотрите! Повесьте шляпку! Да вы не так! По половицам надо! Разве в Москве у вас другая манера? А я,*

знаете, совсем не могу мыть пола, – знаете: поясница болит! Вы, наверное, с детства привыкли?

Молча глотаю слезы.

Вечером из-под меня выдергивают стул, ем свои два яйца без хлеба (на реквизиционном пункте, в Тамбовской губ^{<ерни>}!).

Пишу при луне (черная тень от карандаша и руки). Вокруг луны огромный круг. Пыхтит паровоз. Ветви. Ветер.

Теща: бывшая портниха, разудалая речистая замоскворецкая сваха («муж подкузьмил – умер!»). Хам, коммунист с золотым слитком на шее; мещанка-евреечка, бывшая владелица трикотажной мастерской; шайка воров в черкесках; подозрительные угрюмые мужики, чужой хлеб (продавать здесь на деньги – не хватит и коммунистической совести!)

Всячески пария: для хамки – «бедная» (грошевые чулки, нет бриллиантов), для хама – «буржуйка», для тещи – «бывшие люди», для красноармейцев – гордая стриженая барышня. Годнее всех (на 1000 верст отдаления!) бабы, с которыми у меня одинаковое пристрастие к янтарю и пестрым юбкам – и одинаковая доброта: как колыбель.

«Господи! Убить того до смерти – у кого есть сахар и сало!» (Местная поговорка.)

«Не было смирнее нашего города!» (Рассказ мужика по дороге в Усмань. – Не о всей ли России?)

Сегодня опричники для топки сломали телеграфный столб.

Что им инфраструктура страны, высокие для того времени технологии, системы коммуникации, связывающие структуры страны и граждан... Главное: себя погреть, накормить, обогатить, а как и за чей счет – об этом уже тогда мало думали, создавая precedents и формируя примеры, становящиеся со временем матрицами регулярных разрушительных действий. А о рабсиле позже и вообще перестали заботиться. И опять беспощадно точно М. Цветаева пишет о главном, ради чего – все. Все, что за пазухой, возле сердца: для них и тех, кто с ними, против всей страны и ее

народа. И таким у них – золото. Гениальная поэтесса показывает это и мизансценами, и вербально, прямо называя словами не раз и не два.

Хозяйка за чем-то наклоняется. Из-за пазухи выпадает стопка золота, золотые со звоном раскатываются по комнате. Присутствующие, было – опустив, быстро отводят глаза.

С утра – на разбой. – «Ты, жена, сиди дома, вари кашу, а я к ней маслица привезу!..» – Как в сказке. – Часа в четыре сходятся. У наших Капланов нечто вроде столовой. (Хозяйка: «И им удобно, и нам с Иосей полезно». «Продукты» – вольные, обеды – платные.) Вина что-то незаметно. Сало, золото, сукно, сукно, сало, золото. Приходят усталые: красные, бледные, потные, злые. Мы с хозяйкой мигом бросаемся накрывать. Суп с петухом, каша, блины, яичница. Едят сначала молча. Под лаской сала и масла лбы разглаживаются, глаза увлажняются. После грабежа – дележ: впечатлениями. (Вещественный дележ производится на месте.) Купцы, попы, деревенские кулаки... У того столько-то холста... У того кадушка топленого... У того царскими тысячью... А иной раз – просто петуха... [см.: сноска 1].

Ничем и никем не брезговали, настоящие коммунисты-большевики ленинского призыва, Троцкого закала. Хотя при этом сами грабители полностью сознавали, что отнимая у крестьян последний куль муки, спрятанный для членов своей – часто тогда еще многочисленной семьи, – они обрекают их на голод и смерть, в первую очередь самых слабых: детей, женщин, стариков, но это выражалось лишь в сарказмах, словах фальшивого сочувствия, ухмылках. Им смешно видеть слезы.

Рузман (семьянин) добродушен. Обнаруживая какой-нибудь запретный (запрятанный) плод, вроде куля муки, сам первый сочувствует:

– Ай-ай-ай! И семейство большое! Нельзя же, в самом деле, семь собственных детей, жену, бабушку и дедушку одним чистым воздухом питать!

Есть в нем и ценитель: так, хитро-скрытое и долго-сопротивлявшееся вызывает в нем любование.

— Такой плут этот Микишикин, такой плут! Ему бы только ликвидацией банков заведовать! И куда он это, вы думаете, он свои николаевские забальзамировал?!

Полегонечку (восьмой день!) вхожу, вживаюсь, уже делаю (лирически!) триумфы и беды, уже хозяйка, обеспокоенная долгим отсутствием мужа, — мне: «Что же это наши Иося нам изменяет?»

Я по самой середине сказки, mitten drinnen.

Разбойник, разбойника жена — и я, разбойниковой жены — служанка. Конечно, может статься — выхвачу топор... А скорей всего, благополучно растряся свои 18 ф^{унтов} пишена по 80-ти заградительным отрядам, весело ворвусь в свою борисоглебскую кухню и тут же — без отдыши — выдошусь стихом!

Такая вот работа у большевика была: народ грабить, с собой зовут — выгоду обещают под честное слово.

Зовут на реквизицию. (Так герцоги, в былые времена, приглашали на охоту!)

— Бросьте вы свои спички!.. (Сколько у вас осталось коробочек? Как — целых три даром отдали? Ах, ах, ах, какая непрактичная!) Едемте с нами, без спичек целый вагон муки привезете. Вам своими руками ничего делать не придется — даю вам честное слово коммуниста: даже самым маленьkim пальчиком не пошевельнете! И хозяйка, ревниво (не ко мне, конечно, а к мыслимым «продуктам»).

— Ах, Иося, разве это возможно! Кто же мне завтра посуду будет мыть, когда я на базар пойду за дрожжами!

(Единственный в этой семье покупной «продукт»).

Ограничение свободы — личной и гражданских, политических и экономических у завоеванных и грабимых — уже тогда чувствовалось и шло семимильными шагами, превращая вчерашних свободных людей, привыкших еще недавно прямо выражать свои мысли и мнения, — в сегодняшних рабов, которым бандиты с партбилетами уже тогда начинали затыкать рты, что затем выродится не только в физическое, но и в духовное рабство всей страны, куда хуже античного.

Сколько перемытой посуды и уже дважды вымытый пол! Чувство, что я определенно обращена в рабство. Негодная теща, в тон хозяйке, третирует. От моих вероломных Тезеев (хорош – Наксос!) вот уже вторая неделя – ни слуху, ни духу. У меня пока: 18 ф^{унтов} пшена, 10 ф^{унтов} муки, 3 ф^{унта} свиного сала, янтарь и три куклы для Али. Грозят заградительными отрядами.

Да, для таких, как М. Цветаева, – еще и загрядотряды, другое название для «реквизиционных», откровенно разбойно-грабительских: отнять выменянное, добываемое для детей. Искреннее слово и через 70 лет этой власти будет тяжко переносить. Срывались и тогда, когда враг таился меньше, чувствуя свою безнаказность, вооруженность перед разоруженными, выставляя наглость малограмотного хама перед вежливостью образованных и умных людей.

Разрываюсь от смеха и гнева. Вечер проходил как всегда. Входили, выходили, пощучивали, покуривали, обдумывали завтрашние набеги, подытоживали нынешние. Словом: мир. И вдруг: гром: Бог! Кто начал – не помню. Помню только свой голос:

– Господа, если его нет – за что же вы его так ненавидите?
– А кто вам сказал, что мы Господа Бога ненавидим?
– Или вы его слишком любите: вы неустанно о нем говорите.
– Говорим, потому, что многие в эти пустяки еще верят.
– Я первая! Дурой родилась, дурой помру. (Это теща прорвалась.)

Левит, снисходительно:

– Вы, мадам, – это вполне объяснимое явление, все наши мамаши и папаши веровали, но вот (пожатие плечей в мою сторону)... что товарищ в таком молодом возрасте и еще имев возможность пользоваться всеми культурными благами столицы...

Теща:

– Ну что ж, что из столицы? Вы думаете, у нас в Москве все нехристи, что ль? Да у нас в Москве церквей одних сорок сороков, да монастырей, да...

Левит:

— Это пережитки буржуазного строя. Ваши колокола мы перельем на памятники.

Я: — Марксу.

Острый взгляд: — Вот именно.

Я: — И убиенному Урицкому. Я, кстати, знала его убийцу.
(Подскок, — выдерживаю паузу.)

...Как же, — вместе в песок играли: Каннегиссер Леонид.

— Поздравляю вас, товарищ, с такими играми!

Я, досказывая: — Еврей.

Левит, вскипая: — Ну это к делу не относится!

Теща, не поняв: — Кого жиды убили?

Я: — Урицкого, начальника петербургской Чрезвычайки.

Теща: — И-иши. А что, он тоже из жидов был?

Я: — Еврей. Из хорошей семьи.

Теща: — Ну, значит, свои повздорили. Впрочем, это между жидами редкость, у них это наоборот — один другого покрывает, кум обжегся — сват дует, ей-Богу!

Левит, ко мне: — Ну и что же, товарищ, дальние?

Я: — А дальние покушение на Ленина. Тоже еврейка (обращаясь к хозяину, любезно). — Ваша однофамилица: Каплан.

Левит, перехватывая ответ Каплана: — И что же вы этим хотите доказать?

Я: — Что евреи, как русские, разные бывают.

Левит, вскакивая: — Я, товарищ, не понимаю: или я не своими ушами слышу, или ваш язык не то произносит. Вы сейчас находитесь на реквизиционном пункте, станция Усмань, у действительного члена Р.К.П. товарища Каплана.

Я: — Под портретом Маркса...

Левит: — И тем не менее вы...

Я: — И тем не менее я. Отчего же не обменяться мнениями?

Кто-то из солдат: — А это правильно товарищ говорит. Какая же свобода слова, если ты и икнуть по-своему не смеешь! И ничего товарищ особенного не заявляли: только, что жид жида уложил, это мы и без того знаем.

Левит: — Товарищ Кузнецов, прошу вас взять свое оскорбление обратно!

Кузнецов: — Какое такое оскорблечение?

Левит: – Вы изволили выразиться про идеиную жертву – жид?!

Кузнецов: – Да вы, товарищ, потишие, я сам член К~~оммунисти~~ческой партии, а что я жид сказал – у меня привычка такая!

Теща – Левиту: – Да что же это вы, голубчик, всхорохорились? Подумаешь – «жид». Да у нас вся Москва жидом выражается – и никакие ваши декреты запретные не помогут! Потому и жид, что Христа распял!

– Христ – ма – а??!

Как хлыст полоснул. Как хлыстом полоснул. Как хлыстом полоснули. Вскакивает. Ноздри горбатого носа пляшут.

– Так вы вот каких убеждений. Мадам? Так вы вот за какими продуктами по губерниям ездите. – Это и к вам, товарищ, относится! – Пропаганду вести? Погромы подстраивать? Советскую власть раскачивать? Да я вас!.. Да я вас в одну сотую долю секунды... [см.: сноска 1].

– И не испугалась! А сын-то у меня на что же? Самый что ни на есть большевик, почище вас будет. Ишь – расходился! Вот только змеем шипеть! Пятьдесят лет живу – такого страма...

Хозяйка: – Мадам! Мадам! Успокойтесь! Товарищ Левит пошутил, товарищ всегда так шутит! Да вы сами посудите...

Прозрение наступало уже тогда, когда еще было кому сравнивать еще недавно бывшее, новое, только появлявшееся – и какое, насколько страшное!

Сваха, отмахиваясь: – И судить не хочу, и шутить не хочу. Надоела мне ваша новая жизнь! Был Николаша – были у нас хлеб да каша, а теперь за кашей за этой – прости Господи! – как пес язык высуня 30 верст по грязи отмахиваем...

Кто-то из солдат: – Николаша да каша? Эх вы, мамаша!.. А не пора ли нам ребята, по домам? Завтра чем свет в Ипатовку надо.

Вернулись Ни зять. Привезли муки, веселые. И на мою долю полпуда. Завтра едем. Едем, если сядем.

А вот мнение другого участника революции, русского человека. Цветаевой интересно знать о нем все – и кто он, и что, его образование, знания, круг чтения, какая семья, как таким стал, как Стенька Разин (или без «как», для этого времени), и т.д. С таким она и пошутить не прочь.

Стенька Разин. Два Георгия. Лицо круглое, лукавое, веснушчатое: Есенин, но без мелкости. Только что, вместе с другими молодцами, вернулся с реквизиции. Вижу его в первый раз [см.: сноска 1] (...).

Говорим что-то о церквях, о монастырях.

– Вы вот, товарищ, обижаетесь, когда на попов ругаются, монашескую жизнь восхваляете. Я против того ничего не говорю: не можешь с людьми – иди в леса. На миру души не спасешь, сорок сороков чужих загубишь. Только, по совести, разве в попы да в монахи затем идут? За брюхом своим идут, за жизнью сладкой. Вроде как мы, к примеру, на реквизицию, – ей-Богу! А Бог-то при чем? Бога-то, на святость ту глядя, с души воротит. Изничтожил бы он свой мир, кабы мог! Нет, ты мне Богом не заслоняйся! Бог – свет: всю твою черноту пропущает. Ни он от тебя черней, ни ты от него не белей. И не против Бога я, товарищ, восстаю, а против слуг его: рук неверных! Сколько через эти руки от него народу отпало! Да разве у всех рассудок есть? Вот хотя бы отец мой, к примеру, – как началось это гонение, он сразу рассудил: с больной головы да на здоровую валят. Поп, крысий хвост, нашкодил – Бога вешать ведут. Не ответствен Бог за поповский зоб! И сами, говорит, премного виноваты: попа не чтили, вот он и сам себя чтить перестал. А как его чтить-то? Я, барышня, ихнего брата в точности превзошел. Кто первый вор? – Поп. Обжора? – Поп. Гулена? – Поп. А напьется – только вот разве – барышни вы, объяснить-то вам неприлично...

– Ну а монахи, отшельники?

– А про монахов и говорить нечего, чай, сами знаете. Слова постные, а языком с губ скромную мысль облизывают. Раскрои ему черепушку: ничего, кроме копченых там да соленых, да девок, да наливок-вишневок не удостовериишь. Вот и вера вся! Монашеское житие! Души спасение!

— *А в Библии, помните? Из-за одного праведника Содом спасу? Или не читали?*

— Да сам, признаться, не читал, — все большие я в младости голубей гонял, с ребятами озоровал. *А вот отец у меня — великий церковник. (Вдохновляясь:) Где эту самую Библию ни открои — так тебе 10 страниц подряд слепыми глазами и шпарит...*

А я вот еще вам хотел, товарищ, про монахов досказать. Монашки, к примеру. Почему на меня каждая монашка глазами завидует?

Я, мысленно: «Да как же на тебя, голубчик, не...»

Он, разгораясь:

— Жмется, мнется, глаза как колодцы. Да куда ж ты меня этими глазами тянемешь-то? Да какая ж ты после этого моленная? Кровь озорная — в монастырь не иди, а моленная — глаза вниз держжи!

Я, невольно опуская глаза: «Морализирующий Разин». (Вслух):

— Вы мне лучше про отца расскажите.

— О-тец! Отец у меня — великий человек! Что там — в книжках пишут: Маркс, например, и Гракхи-братья. Кто их видел-то? Небось, все иностранцы: имя — язык занозишь, а отечества нету. Три тысячи лет назад — да за семью за синими морями — тридевять земель пройдешь — в тридесятой, — это не хитро великим быть! А может, так, выдумки одни? Этот-то (взмах на стенного Маркса)... грибач косматый — вправду был?

Я, не сморгнув: — Выдумали. Сами большевики и выдумали. По дороге из Берлина — знаете? Вымозговали, пиджак надели, бороду — грибу распушили, по всем заборам расклеили.

— А вы, барышня, смелая будете.

— Как и вы.

(Смеется.) (...).

Был хорошим солдатом, пока не дали банк пограбить. Чувствует и ценит поэзию.

Два Георгия, спас знамя.

— Что вы чувствовали, когда спасали знамя?

— А ничего не чувствовал! Есть знамя — есть полк, нет знамени — нет полка!

Купил с аукциона дом в Климацах за 400 руб^{<лей>}. Грабил банк в Одессе — «полные карманы золота»! Служил в полку Наследника.

— Выходит он из вагона: худенький, хорошенъкий, и жалобным таким голоском: «А куда мне сейчас можно будет пойти?» — «Вас автомобиль ждет, Ваше высочество». Многие солдаты плачали.

Говорю ему стихи: «Царю на Пасху», «Кровных коней»...

— Это какой же человек сочинял? Не из простых, чай? А раскат-то какой! Аккурат как громом перекатило: — ...Пойла — стойла... А здорово ж ему бы нагорело за стойла за эти! А ялагаю — не в памяти писано, а? Убили отца, убили мать, убили братьев, убили сестер, — вот он и записа-ал! С хорошей жизни так не запишешь! А нельзя ли было бы, барышня, мне этот стих про стойла на память списать?

— Попадетесь.

— Я?!! — Рожса из вдохновенной делается грабительской. Я — да попасться? Нерожён еще пропад тот, через который я пропасть должен! Нерожён — непроложен! Да у меня, барышня, золотых часов четверо. (Руки по карманам!) Хотите — сверяйтесь! И все по разному времени ходят: одни по московскому, другие по питерскому, третья по рязанскому, а эти вот (ударяя кулаком в грудь) — по разинскому! (...).

После тещ, свах, пшен, помойных ведер, наганов, Марксов — этот луч (голос), ударяющий в эту синь (глаза!). Ибо читаю ему прямо в глаза: как смотрят! В васильковую синь: сгинь.

Стенька Разин! (...)

И опять вагон, поезда; заградотряды, оказывается, не страшны, для Каплана — они свои. И междуусобица между самими большевиками.

Завтра едем. Едем, если сядем. Грозят заградительными отрядами. Впрочем, Каплан (из уважения к теще) обещает дать знать по путям, что едут свои.

Утреннее посещение N (ночевал в вагоне).

— М^{<арина>} И^{<вановна>}, сматывайтесь — и айда! Что вы здесь с тещей натворили? Этот, в красной черкеске, в бешенстве! П полночи его работал. Наврал, что вы и с Лениным, и с Троцким, что вы им всем очки втирали, что вы тайно командированы, черт знает чего наплел! Да иначе не вывез бы! Контрреволюция, орет, юдофобство, в одной лульке с убийцами Урицкого, орет, качалась! Это теща, говорю, качалась (тещу-то Колька вывезет!). Обе, обе, орет, — одного поля ягодки! Ну потом, когда я и про Троцкого, и про Ленина, немножечко осел. А Каплан мне — так уж безо всяких: — «Убрайтесь сегодня же, наши посадят. За завтрашний день не ручаюсь». — Такие дела!

А еще, знаете, другое удовольствие: ночью проснулся — разговор. Черт этот — еще с каким-то. Крестьяне поезд взорвать хотят, слежка идет... Три деревни точно... Ну и гнездо, Марина Ивановна! Да ведь это же — Хитровка! Я волосы на себе рву, что вас здесь с ними одну оставил! Вы же ничего не понимаете: они все будут расстреляны!

Я: — Повешены. У меня даже в книжке записано.

Он: — И не повешены, а расстреляны. Советскими же. Тут ревизии ждут. Левит на Каплана донес, а на Левита — Каплан донес. И вот кто кого. Такая пойдет разборка! Ведь здесь главный ссылкой пункт — понимаете?

— Ни звука. Но ехать, определенно, надо. А тещин сын?

— С нами едет, — мать будто проводить. Не вернется. Ну, М^{<арина>} И^{<вановна>}, за дело: вещи складывать!

...И, ради Бога, ни одного слова лишнего! Мы уж с Колькой тещу за сумасшедшую выдали. Задаром пропадем!

Дальше то, что можно определить как описание кровавого балагана хаоса, в который ввергнута страна и люди, в котором все мешается со всем: правда с вымыслом, люди и вещи, железный порядок штыков и произвол импровизации еще живых людей, жизнь и нависающая над всеми смерть.

Сматываюсь. Две корзинки: одна кроткая, круглая, другая квадратная, злостная, с железными углами и железкой сверху. В первую — сало, пшено, кукол (янтарь, как надела, так не сняла),

в квадратную – полпуда *N* и свои 10 ф*унтов*. В общем, около 2 п*удов*. Беру на вес – вытяну!

Хозяйка, поняв, что уезжаю, льнет; я, поняв, что уезжаю, наглею.

– Все товарищ, товарищ, но есть же у человека все-таки свое собственное имя. Вы, может быть, скажете мне, как вас зовут?

– Циперович, Мальвина Ивановна.

(Из всей троичности уцелел один Иван, но Иван не выдаст!)

– Представьте себе, никак не могла ожидать. Очень, очень приятно.

– Это моего гражданского мужа фамилия, он актер во всех московских театрах.

– Ах, и в опере?

– Да, еще бы: бас. Первый после Шалятина. (Подумав): ... Но он и тенором может.

– Ах, скажите! Так что, если мы с Иосей в Москву приедем...

– Ах, пожалуйста, – во все театры! В неограниченном количестве! Он и в Кремле поет.

– В Крем...?!

– Да, да, на всех кремлевских раутах. («Интимно»): Потому что, знаете, люди везде люди. Хочется же поразвлечься после трудов. Все эти расправы и расстрелы...

Она: – Ах, разумеется! Кто же обвинит? Человек – не жертва, надо же и для себя... И скажите, много ваш супруг зарабатывает?

Я: – Деньгами – нет, товаром – да. В Кремле ведь склады. В Успенском соборе – шелка, в Архангельском (вдохновляясь): меха и бриллианты... (...) [см.: сноска 1].

Посадка.

Поезд. – Одновременно, как из-под земли: 12 с винтовками. Наши! В последнюю секунду пришли посадить. Сердце падает: Разин!

– Что, товарищ, небось срубели? Ничего! Ся – адем! Безнадежно, я даже не двигаюсь. Не вагоны – завалы. А навстречу завалам вагонным – ревущие, вопиющие, взывающие и глаголющие – завалы платформенные.

— Ребенка задавили! Ребенка! Ребенка —

Лежачая волна — дыбом. Горизонталь — в стремительную и обезумевшую вертикаль. Лезут. Втаскивают. Вваливаются.

Я — через всех — Разину:

— Ну? Ну?

— Ус — неем, барышня! Не волнуйтесь! Вот мы их сейчас!

— Ребята, осади, стрелять будем!

Ответный рев толпы, щелк в воздух, удар в спину, не знаю где, не знаю что, глаза из ям, взлет...

— А это что ж, а? Это что ж за птицы — за синицы?

Штыка — ами? Крестьянского добра награбили да по живому человеку ступа — ать?

— А спусти-ка их, ребята, и дело с концом! Пущай вольным воздухом продышатся!

Поняла, что села и едем. (Все ли? Озирнуться нельзя.) Постепенное осознание: стою, одна нога есть. А другая, «очевидно», тоже есть, но где — не знаю. Потом найду.

А гроза голосоврастет.

— Долго очень думать не приходится. Штык посадил, а мужик высадит! Что ж это, в самом деле, за насмешка, мы этой машины-то, небось, семнадцать ден, как Царства Небесного какого... А эти!..

Утешаюсь только одним: извлечь человека из этой гущи то же самое, что пробку из штофа без штопора: немыслимо. Мне быть выброшенной — другим раздаться. А раздаться — разлететься вагону. Точное ощущение предела вместимости: дальше — некуда, и больше нельзя.

Стою, чуть покачиваемая тесным, совместным человеческим дыханием: взад и вперед, как волна. Грудью, боком, плечом, коленом срашенная, в лад дышу. И от этой предельной телесной сплоченности — полное ощущение потери тела. Я — это то, что движется. Тело, в столбняке — оно. Теплушка: вынужденный столбняк.

— Господа — а — а... О — о — о... У — у — у...

Но... нога: ведь нет же! Беспокойство (раздраженное) о ноге покрывает смысл угроз. Нога — раньше... Вот когда найду ногу... И, о радость: находится! Что-то — где-то болит. При-

слушиваюсь. Она, она, голубушка! Где-то далеко, глубоко... Боль оттачивается, уже непереносима, делаю отчаянное усилие...

Рев: – Это кто ж сапогами в морду лезет?!

Но дуб выкорчеван: рядом со мной, как дымовой столб (ни чулка, ни башмака не видно), – моя насущная праведная вторая нога [см.: сноска 1].

И – внезапный всплеск в памяти: что-то темное ввысь! горит! Ах, рука на прощание, с моим перстнем! Станции Усмань Тамбовской губ~~ернии~~ – последний привет!

Москва, сентябрь, 1918